

И.Ф. Щербатова

Народ безмолвствует*

Положение о поляризации русского социума является исходной посылкой при любом исследовании российских процессов. Сословная разобщенность общества усиливалась культурной пропастью, но и внутри сословий нетрудно выделить бездну различных слоев и категорий. Это касается в первую очередь низших сословий: во-первых, это крестьяне крепостные, государственные, барщинные, дворовые, вольные хлебопашцы, торгующие крестьяне, кулаки, середняки, беднота, сельские старосты, сельские писцы и т. д.; далее – купцы первой, второй, третьей гильдии; пестрый состав мещанства: торгующие мещане, мелкие ремесленники, торговцы, предприниматели и, наконец, межсословная группа разночинцев. Все обременены различными ограничениями, налогами и обязательствами – все разобщены, так как отсутствие равного для всех права на частную собственность при действующей табели о рангах на первое место вывело гонку за имущественный ценз. Но и в самом дворянстве расстояние, например, между представителем родовой знати, занимавшим первые строчки табели о рангах, и чиновником, получившим личное дворянство за выслугу без права передачи по наследству, было равно бесконечности. Такое положение вещей последовательно сберегалось на протяжении трех последних веков самодержавия, так как именно такая структура общества создавала прочную опору режиму, облегчая

* Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 09-03-00299а «Идеология и процессы социальной модернизации».

административный и полицейский контроль. Социальная разобщенность общества соответствовала традиционному типу государственности и поддерживалась традиционалистским менталитетом. В подобных условиях государственная идеология не могла формулироваться в строгих социально-политических категориях, а, как правило, приобретала мифологическую форму.

Время от времени российская власть, понимая силу «русской идеи», формулировала стратегическую идеологию, например, Москва – Третий Рим (XVI в.), Священный союз или теория официальной народности (1833 г.), которые оказывались или мало соотносящейся с действительностью мифологемой, или просто фарсом. Исторический контекст был различным, единым же было стремление укрепить авторитет власти и институт единодержавия. При этом всегда так или иначе Россия в идеологическом плане соотносилась с Европой. Сословно-самодержавная государственность довольно быстро из исторически оправданной формы превратилась в отсталого монстра, а развивающаяся под боком Европа делала российский имидж все более уязвимым. Международные вопросы на какое-то время решались войнами или переговорами, а внутренние социальные противоречия неуклонно нарастали. Власть демонстрировала стремление решить их, не меняя политических основ. При таком подходе главная нагрузка ложится на спекулятивную фразеологию, заклинания, идеологии – словом, на идеологию. Со времен Петра I для выяснения политической конъюнктуры православная риторика уже не годилась, но и новоевропейский словарь недолго оставался универсальным. Николай I, Александр III и Николай II идеологические мифологемы возводили, используя национальные мотивы, пытаясь с помощью национальных преимуществ (как они их понимали) сплотить раздираемое противоречивыми идеями общество и сохранить сословную монархию. Идеиные разногласия по большей части касались именно судьбы крестьянства, но власть вплоть до начала XX в. не связывала с положением народа свое политическое существование. Безгласная, темная, лишенная самосознания рабочая масса оставалась *безусловной опорой самодержавия*. *Крестьянской* по преимуществу Россию увидели большевики, для которых крестьянство, оставаясь тем же немым и темным, очень быстро стало опасным. Самодержавие оставляло народ в темноте и несправии, большевики уничтожали крестьянство всегда являлось безгласным

субъектом истории, представлявшим главным образом утилитарный интерес. В историко-научном плане проблему сформулировал современный американский исследователь в виде извечной дилеммы крестьяноведения и колониальных исследований – «как услышать глас безмолвствующих»¹. В практическом – крестьян услышали в 1917 г. все – все, кто верил в самостоятельность крестьянства или в его заповедную душу, кто не верил, кто предупреждал о катастрофе, и те, кто не видел способности к самоорганизации темного и забитого народа. Социальные противоречия переросли в катастрофу чрезвычайно быстро, достигнув апогея в точке *x*. То, что произошло тогда, поэт Александр Блок назвал *возмездием*. В довольно короткий исторический момент народ уничтожал всех, кто к народу не принадлежал, – не только ненавистных помещиков-землевладельцев, но и лживших крестьянских детей помещиц и игравших вместе с крестьянскими детьми барчуков, а также защищавших интересы народа законников-либералов и близких крестьянам спецов-аграриев – словом, всех *чужих*. Разрывались и поджигались усадьбы. В 1918 г. сгорело подмосковное Шахматово, усадьба Александра Блока, сгорели дорогие для русской культуры псковские имения Тригорское и Петровское, что, в общем-то, понятно, но крестьяне подожгли и дом *всенародного* поэта А.С.Пушкина в Михайловском, давно уже бывший музеем. Это и называется *«память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной»*. Крестьяне в том кровавом восемнадцатом отдались чувству, зная, что, как всегда, праздник их будет недолгим. И действительно, новая власть, поделив крестьянство на имущественные и идеологические категории, стала планомерно его уничтожать. В результате сегодня, имея калужские, орловские и рязанские сады, приокские луга и прикамские степи, мы вынуждены покупать южноафриканские яблоки, аргентинское мясо и китайский чеснок. Но в крестьянстве ли дело? На примере судьбы российского крестьянства очевидны результаты политики социальной дезинтеграции и сознательного ухода от решения проблемы легитимности различных категорий общества вообще и поземельных отношений в частности. Решение этих вопросов могло бы стать объединяющей общество новой идеологией, но не стало.

Начиная с XVIII в., государственную политику не всегда последовательно определяла одна тенденция, которая концептуально оформилась при Екатерине II, и звучала так: «Россия есть европей-

ская держава»². Екатерина II подчеркивая преемственность дела Петра, записала в «Наказе», что в пору преобразований Петра I российские «нравы и климат сходились» с европейскими³. Тогда ей казалось, что этого достаточно. Эта максима – Россия есть европейская держава – позволяла представить русский XVIII в. как век Просвещения. Молодая и амбициозная императрица Екатерина II пошла на рискованный шаг: она импортирует Просвещение, буржуазно-демократическую идеологию, базирующуюся на теории естественного равенства людей. В то же время общественные отношения в России XVIII в. еще регулировали сословные привилегии, учреждаемые неограниченной властью. Последнее обстоятельство обусловило в точном правовом смысле юридическое бесправие всех перед произволом власти. Однако реальное *равенство всех в бесправии* при Екатерине II отнюдь не являлось общим местом социально-политической критики. В то же время просвещенческая фразеология запустила в русскую образованную среду понятие естественного равенства, бытование которого иллюстрировало всю курьезность феномена дворцового просвещения. Вольтер и Дидро – друзья императрицы, но слову *равенство* в правление Екатерины II чаще всего сопутствует определение «химера» – именно так императрица, не видя противоречия, и сама говорила: «химера равенства». О своих беседах с Дидро она писала: «Если бы я послушалась его, то пришлось бы все перевернуть в моем государстве: законы, администрацию, политику, финансы – уничтожить все и заменить несбыточными теориями. Я откровенно ему сказала: “Господин Дидро! Со всеми вашими великими началами, которые я понимаю отлично, хорошо писать книги, а плохо действовать”»⁴. На самом деле Екатерина искренне считала Россию европейской державой, имевшей *отличное* лицо, на что у России были основания; при этом, ссылаясь на Просвещение, спокойно можно было обосновывать неограниченное самодержавие и сословное неравенство.

Идея естественного равенства, добытая как интеллектуальный трофей, не пробивала прочной бреши в сословном мышлении. Просвещенное общество положительно отзывалось на конституционные призывы, но идею естественного равенства, которая в русском варианте нередко звучала как «*равенство всеобщее или сущее химерическое*», воспринимало как казус. Еще раньше в этой же ситуации оказался Петр I, только ему особенно некогда было

задумываться о противоречиях – он возводил фундамент, копируя формы. Однако А.М.Панченко, исследуя вопрос о знакомстве Петра I с идеями естественного права Локка, заметил, что «первое непосредственное соприкосновение Петра с Западом было и соприкосновением с самыми передовыми и самыми благородными идеями», но «идеи не всегда совпадают с государственной практикой. Более того, она часто деформирует их до неузнаваемости»⁵. Действительно, с начала Нового времени, с реформ Петра I Россия развивалась в поле западной цивилизации, используя матрицы европейского просвещения, но искривления и деформации были столь существенны, что реальные достижения западной цивилизации, в частности, в социально-правовой сфере оставались как бы в параллельном пространстве. Одной из причин такой деформации являются бессознательные установки российских реформаторов или идеологов, причем политическая принадлежность в данном случае не важна, они могут находиться в противоположных идейных лагерях. По замечанию профессора А.Л.Доброхотова, «прежде чем строить теорию или формулировать программу политических действий, люди сознательно или бессознательно выбирают ориентиры, напрямую не обоснованные теорией или практикой. Это своего рода аксиомы, которые могут порождаться культурой, бессознательной психологической установкой или сознательным выбором. Часто именно эти аксиомы определяют судьбу идей и деяний. Может быть, именно в этом – ответ на вопрос, почему внешне одни и те же экономические и политические реформы имеют столь разные результаты на Западе и в России»⁶.

Запад копировался выборочно, исходя из критериев имиджа, безопасности, соображений утилитарного порядка, но то европейское, что перенималось, не могло переломить азиатчины в общественных отношениях, где в первую очередь вопиющим было рабство, причем естественное как воздух. Екатерина, понимая, что крепостное право надо отменять, решила по крайней мере выяснить общественное мнение по этому вопросу. Обсуждение «Наказа» депутатами выявило чудовищный уровень правосознания общества. «На восьмом заседании при чтении депутатских наказов стали слышны нападки в адрес статей “Наказа” о равенстве всех перед законом. Дворяне больше всего опасались проникновения в свои ряды представителей других сословий и не желали

слышать об ослаблении крепостного права. Горожане, наоборот, стремились получить некоторые из дворянских привилегий и прежде всего возможность покупать крестьян. Дело дошло до того, что купцы, казаки и духовенство стали требовать себе крепостных крестьян. М.М.Щербатов выдвинул довод о божественном происхождении права старого дворянства на то, чтобы им быть властителями над крестьянами»⁷. Таким образом, рабов хотели все.

Законодательная норма, легализирующая отношение к человеку как к вещи, мешала воспринимать Россию именно как европейское государство по существу, то есть по реальным цивилизационным завоеваниям, главным из которых являлись личные свободы и права. В России фактическое рабство большинства народа считалось нормой именно в культуuroобразующей среде, в *обществе*. Соответственно, деформировалось самосознание этой культурной среды, «поскольку, по справедливому замечанию А.Б.Каменского, дворянское достоинство было сопряжено не только с высоким социальным статусом, как было в большинстве европейских стран, но и с владением особым видом имущества. Не случайно в числе вождяленных сословных прав дворянство числило монопольное владение землей и крепостными душами. Особенности дворянского самосознания не могли, в свою очередь, не сказаться на общественном и национальном сознании в целом»⁸. Сказались. При таком отношении к человеку не было и не могло быть движения к гражданскому обществу, что, в общем, понятно, так как вплоть до середины XIX в. цивилизирующую роль третьего сословия у нас выполняло дворянство, для которого душевладение было основным способом существования. Это обстоятельство выводило проблему крепостничества из объективно-правового подхода, оставляя для ее решения какую-то иную, псевдоправовую лазейку в поле сомнительной нравственности. Только А.Н.Радищев соотнес крепостничество с рабством чернокожих в Америке, а тот манифест неотчуждаемых прав человека, который с предельной полнотой он запечатлел на страницах своей знаменитой книги, делает честь русскому XVIII в., но это был глас вопиющего в пустыне. В то же время нельзя сказать, что общество уже тогда не понимало, о чем речь. О том, что крестьяне такие же люди, еще за двадцать лет до книги Радищева мягко и ненавязчиво пытался напомнить читателям своих журналов Н.И.Новиков. Но ни знакомство с передовыми теориями образованной части общества,

ни агитационно-обличительная литература не влияли на господствовавшее патриархально-патерналистское восприятие крестьянства. И дело здесь не только в «ограниченности одних», «неорганизованности других» – было во всем этом еще и чисто русское, ментальное, безмятежное барство, обычное расхождение слова и дела, когда выступления за права человека на деле оказывались прекраснородным порывом, литературой. Общество думает, что это политика, а в действительности – это эстетический взгляд на жизнь. Например, в начале XIX в. был известен анекдот о том, как гуманист, «либерал, мартирист, передовой человек» Николай Новиков отдал в солдаты своего секретаря за то, что тот «совсем избаловался»⁹. Сам же народ процесс европеизации затрагивал в наименьшей степени. Его существование, замороженное общинным строем, напоминало заповедную страну, жители которой, всё менее понятные и всё более пугающие, принимали какой-то условный статус – *ревизской души*, платежной единицы. Человеческого лица было не разглядеть, да этого и не нужно было, это только мешало, если продавать крестьянскую семью в розницу. При этом сам народ не давал повода усомниться в незыблемости патриархальных устоев.

Включенность в Европу в правление Александра I была максимальная, но по существу мало что изменилось. Обещание Александра I дать права гражданам, осчастливив финнов, растворилось в воздухе. Император, ученик республиканца Лагарпа, терялся в предположениях, кого считать гражданами на российских просторах. Народ победил Наполеона – ему за это император пообещал «мзду от Бога». А что еще? Как неосознанно, наверно, обмолвился А.Х.Бенкендорф, говоря о лояльности народа: «О низших же сословиях и говорить нечего: чернь всегда и везде была и будет чернью»¹⁰.

Культурное общество к тому времени как-то определилось относительно крестьянского вопроса. П.А.Вяземский в переписке прозорливо обмолвился, что «рабство – одна революционная система, которую мы имеем в России»¹¹. Это частное мнение терялось в предложениях других «прогрессистов». Н.И.Тургенев выступал за отмену крепостного права при сохранении самодержавия, но в эмиграции поостыл, так как вынужден был жить с того, что давало имение брата А.И.Тургенева; адмирал Н.С.Мордвинов, глава умеренной оппозиции, выступал за конституцию при сохранении крепостного права. В целом же в дворянской элите преобладала

такая точка зрения: «Произвести столь существенные изменения в наиболее обширной во всем мире империи, среди народа свыше 30 миллионов, неподготовленного, невежественного и развращенного, и сделать это в то время, когда на всем континенте происходит брожение умов, это значит, не скажу рисковать, но наверное привести в волнение страну, вызвать падение трона и разрушение империи. Нельзя только сразу совершить прыжок из рабства в свободу без того, чтобы не впасть в анархию, которая хуже рабства»¹². Н.М.Карамзин к этому еще добавлял, что «для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственности»¹³. Жесткое пушкинское «зачем стадам плоды свободы» было наиболее трезвым видением ситуации: народ получает то, что заслуживает. При этом Пушкин, один из немногих, отдавал себе отчет в том, что политические права дворянства неотделимы от «освобождения крестьян»¹⁴. Дворянство в лучших традициях патернализма решало за народ, как ему лучше. И то правда, ведь не было единого движения снизу. В России к необходимости реформ общество не пришло в силу логики развития, ценой жестокой борьбы, самопожертвований, крови, как в Европе. Отсюда так слабы и нежизнеспособны оказались те гражданские завоевания, которые произошли в результате реформ Александра II. Эту характерную особенность российского преобразовательного процесса отметил В.О.Ключевский, говоря конкретно о конституционном плане Сперанского: «План был кабинетным опытом русского правительства сделать для своего народа то, что на Западе народы пытались сделать для себя вопреки своим правительствам»¹⁵. Выходило, что те, кто мог решить проблему рабства в России, имели и подобие гражданских прав, и личные гарантии, а те, кому это было необходимо, парадоксальным образом не предпринимали ничего. Народ во всех его имущественных и категориальных проявлениях, темный, разбросанный по весям, прикованный к своим наделам, демонстрировал феноменальное терпение и покорность. В России редкие крестьянские войны начинали казаки да инородцы, повторяя, как в кривом зеркале, монархические гримасы, что с поправкой на время можно сказать и о восстании большевиков, а крестьянские бунты, локальные в силу огромных расстояний между поместьями, были направлены

против беспредела конкретного помещика, но не против системы. В целом выходило так, что народ безмолвствовал. Задержка в состоянии рабства – это как задержка в развитии. Накапливание из поколения в поколение негатива и озлобленности вело к тому, что народ становился невосприимчив к цивилизованным отношениям.

По мере старения Александра I, как водится, либерализм, грех молодости, улетучивался, а в идеологических запасниках обнаружилась полузабытая максима, которой не решалась оперировать прагматичная Екатерина II: в России власть от Бога. Если сложить первую и вторую, то получалось: Россия европейская страна, где власть от Бога. После победы над Наполеоном Александр I мыслил свое предназначение уже в категориях Провидения и стремился к созданию теологически-патриархальной монархии. Оказалось, что и это возможно – цезаропапизм не только не вызывал скепсиса, но воспринимался большинством как существенная черта российской самобытности.

Во второй половине правления Александра I философия, которую правительство крепко увязывало с государственной безопасностью, оказалась невостребованной. По-видимому, в ней видели почву для вольнодумства из-за того, что в мнении правительства именно философия являлась опасной «субстанцией», воспринимавшей и передававшей западное «брожение умов». Учреждение в 1817 г. Министерства духовных дел и народного просвещения, положившего начало клерикализации системы народного образования и развертывания ее в сторону официального патриотизма, – это не что иное, как возведение Александром Павловичем первой опоры моста во имя официальной народности, который достроит его младший брат. Однако тут, как *дежавю*, всплывает естественное право, от которого бабка венценосных Романовых могла еще просто отмахнуться, – в 1818 г. профессор Петербургского университета и Царскосельского лицея А.П.Куницын выпускает первый том труда «Право естественное». Ответ чиновников от образования заслуживает внимания: «Найдено нужным по принятой в сей книге за основание ложным началам и выводимому из них весьма вредному учению, противоречащему истинам Христианства и клонящемуся к ниспровержению всех связей семейственных и государственных, книгу сию, как вредную, запретить»¹⁶. М.Л.Магницкий, раскрывая угрозу вольнодумства, содержащуюся в науке естественного пра-

ва, показал изрядную эрудицию: «Наука естественного права, сия метафизика прав, есть изобретение неверия новейших времен северной Германии. Она всегда была опасна, но когда Кант посадил в преторы так называемый чистый разум, когда спросил истину Божию: что есть истина? – тогда наука права естественного сделалась умозрительною и полною системою всего того, что мы видели в революции французской, опаснейшей подменою евангельского откровения, исторгает из руки Божией начальное звено золотой цепи законодательства и бросает его в хаос своих лжемудрствований»¹⁷. Средневековый взгляд на науку, клерикализация образования, «очищение философии от нелепостей новейших философов» – это всё происходило при императоре Александре I, мечтавшем о конституции (во всяком случае, в это же самое время над ее очередным проектом работали Н.Н.Новосильцев и П.А.Вяземский); и всё это для того, чтобы устранить очевидную разрушительную силу «чужеземных фразеологизмов» (А.С.Пушкин), так неосмотрительно запущенных когда-то Екатериной Великой.

Восстание декабристов подтвердило, какая опасность заключена в западном просвещении. С западным просвещением уже не заигрывают – его строго дозируют в университетах. Официальная идеология, вырубивая на национально-патриотическую колею, впервые обращает полный надежды взгляд на народ, заносит его в идеологические святцы. В какой-то момент власть как будто бы начинает понимать, что все будущее России так или иначе зависит от решения крестьянского вопроса. Выход офицеров и верных им солдат на Сенатскую площадь изменил ход вещей. Восстание декабристов подытожило наивно-подражательное восприятие Европы и дало импульс собственной историософии. Поражение восстания как результат неудачного перенесения европейского либерально-демократического корпуса идей на русскую почву выводило рефлектирующее общество на размышления о существовании российской самобытности, что неизбежно приводило к проблеме народа. До восстания эта проблема еще могла рассматриваться в исключительно нравственном ключе, еще можно было в благодушном тоне размышлять о пагубном влиянии рабства на нравы, о моральном долге дворянства перед народом, но исход восстания помимо всего выявил историческую роль народа: общество однозначно связало поражение декабристов с отсутствием поддержки

с его стороны. Тогда на народ взглянули иначе, и, что примечательно, первым – правительство. После восстания правительство Николая I уже внимательно посмотрело на сословие, из которого оно «вербовало своих солдат», в том числе и тех, кто поддержал офицеров 14 декабря 1825 г. «Среди этого класса встречается гораздо больше рассуждающих голов, чем это можно было предположить с первого взгляда. Они хорошо знают, что во всей России только народ-победитель, русские крестьяне, находится в состоянии рабства; все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваша и так далее – свободны»¹⁸. Эти наблюдения николаевского сыска зафиксировали пробуждение национального самосознания русского народа, а сама проблема крепостничества стала соотноситься с государственной безопасностью. Однако Николай I, признав, что, крепостное право есть очевидное зло, счел, что трогать его теперь означало бы навлечь еще большие беды. Так рассудить можно было лишь в том случае, если народ не давал повода для беспокойства, а он не давал. Поэтому и западный опыт воспринимался обывательски: в том, что в Европе власть и сословия договариваются в поле правовых самоограничений, виделась угроза сословно-самодержавному статус-кво. Народ по-прежнему получает то, что ему дают, но народная карта уже в игре. С этих пор официальная идеология наконец-то, оставляя в покое Рим, священство и вообще Европу, разворачивает государственную политику уже на фундаменте национальных ценностей. То же, кстати, делает и появившаяся демократическая оппозиция, которая, как известно, именно крестьянский вопрос вывешивает на своих знаменах.

В начале 1830-х гг. некогда арзамасец, Сергей Степанович Уваров, президент Академии наук, занимая пост министра народного просвещения, формулирует так называемую теорию официальной народности, которая принимается императором. Триада Уварова – православие, самодержавие, народность – становится официальной идеологией. Европа в это время заходила на очередной виток буржуазно-демократических революций – российская власть предпочитала игру в слова. Император с интеллектом прапорщика решил укрепить идейные устои государства, показать, что сила и стабильность государства в опоре на православие вообще и в народном духе в частности. Всем рекомендовалось быть ближе к исконным традициям. «Речь о том, чтобы не наклеивать на свое

лицо чужую и искусственную личину, о том, чтобы сохранить неприкосновенным святилище наших народных понятий, черпать из него, поставить эти понятия на высшую ступень среди начал нашего государства и, в особенности, нашего народного образования»¹⁹. В итоге получался такой православно-национально-умилительный лубок, призванный показать, что религиозный, лояльный власти и преданный царю народ – это и есть основа стабильности России, то, с чем она пойдет в будущее. Основы народной жизни, *народность* пытаются сделать главным идейно-воспитательным принципом. О том, что этот народ закрепошен, не упоминается вообще – идеология выше частных. Запад в это время уже нашел ответ на вопрос, на какой основе должно происходить объединение общества – на основе сословного устройства или на основе гражданского общества в условиях юридического равенства всех перед законом. У Уварова речь идет тоже о единстве, но при этом для определения сословного равенства министр просвещения использует совершенно то же слово, как когда-то говорили в XVIII в., – «*химера*». Соответственно, сословно разделенное общество, где нет и намека на реальную целостность, предлагается объединить на идеологическом уровне, в рамках мифологемы.

Уваров выразил мнение консервативного лагеря, а именно, что последние 30 лет (а это все царствование Александра I) Россия шла за чуждыми ей идеями, отвергая самобытные начала. Он считал, что идеи Европы ведут страну к катастрофе, так как брожение умов уже поколебало политические, нравственные и религиозные основы многих государств Европы. «Приняв химеры ограничения власти монарха, равенства прав всех сословий, национального представительства на европейский манер, мнимоконституционной формы правления, колосс не протянет и двух недель». В тоже время Уваров, читавший и писавший исключительно по-французски, не мог перечеркнуть Европу, так как понимал, что она – последний залог культуры. Он постарался обрисовать всю противоречивость ситуации: Европа является «тем очагом, без которого современное общество, такое, как оно есть, не может существовать, и который в то же время содержит в себе зародыш всеобщего разрушения»²⁰. Пафос задуманного манифеста о спасении России Уварова сводился к дилемме: «Как идти в ногу с Европой и не удалиться от нашего собственного места»? Иными словами, как

оставить все по-старому, но не потерять при этом лица, ведь на карту поставлено главное – «возродить веру в монархические и народные начала»²¹. Удивительный, необъяснимый для просвещенного человека, каким был С.С.Уваров, откат в средневековые показывает в очередной раз отношение власти к официальной идеологии как к фарсу. Возможно, это была искренняя попытка примирить западное просвещение с самодержавно-патриархальными основами государства, первая в России реальная идеологическая кампания, затронувшая насущные проблемы становления национального государства, но лицом ее оказался Иван Сусанин, а гимном – опера М.Глинки «Жизнь за царя». Только метафоричность театра может подняться над действительностью, но попытки в реальности пропагандировать национальные основы, игнорируя тот факт, что значительная часть народа пребывает в рабском состоянии, означало предельную степень либо легкомыслия, либо цинизма. По сути, власть и государственная бюрократия демонстрировала неспособность конструктивно решать проблему социальной дезинтеграции, обнаруживая на деле не что иное, как в лучшем случае эстетическое восприятие народа. Справедливо замечено: «Уникальность российского опыта заключалась в устойчивой вражде монархов и элиты к юридическим функциям и экспертизе. Такой склад мышления не формулировался в терминах философских программ, а выражался через символы и мифологемы, которые каждый монарх запечатлевал, разыгрывая на сцене своего царствования»²².

В некоторых работах А.И.Герцена, горячего защитника крестьянства, легко обнаружить свойственное русской оппозиционной мысли эстетическое восприятие русской деревни. «С детских лет я бесконечно любил наши села и деревни, я готов был целые часы, лежа где-нибудь под березой или липой, смотреть на почернелый ряд скромных, бревенчатых изб, тесно прислоненных друг к другу, лучше готовых вместе сгореть, нежели распасться, слушать заунывные песни, раздающиеся во всякое время дня, вблизи, вдали... С полей несет сытным дымом овинов, свежим сеном, из лесу веет смолистой хвоей и скрипит запущенный колодезь, опуская бадью, и гремит по мосту порожня телега, подгоняемая молодецким окриком...»²³. Как известно, Герцен отрицательно относился к западному опыту, где крестьяне собственники «душат сельский пролетариат». «Мы, совсем напротив, – справедливо полагает писатель, – государство сель-

ское, наши города – большие деревни, тот же народ живет в селах и городах; разница между мещанами и крестьянами выдумана петербургскими немцами. У нас нет потомства победителей, завоевавших нас, – ни раздробления полей в частую собственность, ни сельского пролетариата; крестьянин наш не дичает в одиночестве – он вечно на миру и с миром, коммунизм его общинного устройства, его деревенское самоуправление делают его сообщительным и развязным»²⁴. Образный язык русской критики становится и языком демократической оппозиции, но он не отличается от языка николаевских бюрократов. Так, С.С.Уваров, говоря о Европе, использовал выражения «нравственная зараза», «возбуждение умов», а о России – «хранит в своей груди», «единственный залог ее блаженства», «драгоценные останки политической будущности», «якорь, который позволит России выдержать бурю». Внеправовая система ценностей тех, кто справа или слева влиял на формирование общественного мнения, определяла не только стиль, но и существо российской идеологии – ее мифологичность. Поколению Герцена, вскормившему российский социализм, еще была свойственна романтизация действительности, восприятие ее через нравственно-эстетическую призму. Однако это поколение заканчивало университеты именно в ту пору, когда шло свертывание преподавания философии и естественного права, что в какой-то степени повлияло на формирование внеправового самосознания. Недостаток образования восполнялся в многочисленных социально-политических или социально-философских кружках, ковавших оппозиционную молодежь, шло изучение трудов тех или иных философов. Однако фанатичная преданность, как правило, одному имени (сначала это был Шеллинг, потом Гегель, потом, Прудон, Сен-Симон или Фейербах) на самом деле лишало философское образование кружковцев систематичности. Это в свою очередь вело не только к методологическим, но и идеологическим перекосам и, по словам Б.Н.Чичерина, поощряло и без того доминирующую мечтательность взамен развития здравого смысла, что в целом не способствовало беспристрастному, рациональному восприятию действительности. Строгая правовая лексика либералов не воспринималась и раздражала в первую очередь не тем, *что* они говорили, а тем, *чего* они не говорили. Требование всеобщего гражданского права не только не допускало ухода в излюбленные нравственные искания, но и очень больно било по сословной ментальности.

Феодальная система сословно-государственных отношений была столь незыблема, что правовая постановка вопроса казалась неуместной, а естествен был лишь снисходительный взгляд на народ как на безликую массу, как на массовку в постановке. Интересно, что и предания о свободных славянах к тому времени составляли лишь тему героического эпоса. Народ в России был ничем – пылью, которую надо образовать, чернью, у которой прежде необходимо исправить нравственность, кладезем народной мудрости, богоносцем, хранителем христианской нравственности, носителем песенной и обрядовой культуры, высоко духовным и невежественным, практически неграмотным, и при этом немым, покорным, терпеливым так долго, что все культурное общество постепенно охватывала эпидемия вины и долга перед ним. Все эти интеллигентские грёзы, как правило, за редким исключением, не выходили за рамки нравственно-культурных переживаний, проблема легитимности народа не поднималась. Культурное общество, признавая пропасть между собой и отсталым народом, себя с ним не соотносило, оно не сомневалось в своем соответствии европейскому уровню. Но внеправовая позиция культурного общества, в массе своей не преодолевшего сословной ментальности, свидетельствует именно об его отсталости.

Внеправовая аморфность населения – вещь очевидная и приемлемая, но император и бюрократическая верхушка, готовя крестьянскую реформу 1861 г., не смогли определить правовой статус освобожденных крестьян. «Законодательство 19 февраля, однако, не указало, могут ли освобожденные крестьяне развиваться в иную, чем сословие, категорию, в чем многие увидели не освобождение, а новую форму зависимости»²⁵. И эта недоговоренность стала еще большим, чем крепостничество, раздражителем для одержимых нравственным долгом народников, которые мыслили категориями мифа и не понимали, что «жизнь за народ» это та же постановка, что и «жизнь за царя», и что именно крестьяне ее не поймут. Идеологические мифы уже не могли не только объединить общество, но и остановить нараставшие внутри именно культурного общества взаимное непонимание и неприятие. Правительство стремилось к сохранению самодержавия любой ценой, активная часть дворянства требовала конституции, внесословная интеллигенция мечтала о крестьянском рае и другом

царе. Крестьяне молчали. Выпадение последних из социально-политического абриса ситуации являлось главным фактором, позволявшим всем трем силам выстраивать свои интересы вне зависимости от целей обустройства гражданского общества. Парадокс ситуации заключался в том, что не крестьянские выступления, а недовольство именно дворянства, вызванное опасениями за сохранность своей земельной собственности, подтолкнули Александра II на самую либеральную за все правление Романовых судебную реформу 1864 г. Именно эта, сделанная по лучшим западным образцам реформа показала, что сословная ментальность общества неподвластна реформам. Судебная реформа 1864 г. не коснулась крестьян – для них был устроен собственный крестьянский волостной суд, который должен был судить по нормам обычного крестьянского права²⁶. Устойчивый традиционализм и внеправовая ментальность культурного общества, включая оппозиционных режиму его представителей, объясняет тот факт, что даже сторонники отмены крепостного права рассматривали это событие не как правовую модернизацию системы, а как распространение сословных привилегий на другие категории общества. Эмансипация же права, чреватая нивелированием сословных различий, означала прямую угрозу самодержавно-дворянской системе в целом. При отсутствии гражданского (общего и личного) права дворянство было защищено сословными привилегиями, это позволяло ему долгое время игнорировать свою собственную юридическую незащищенность. До начала реформ правовые процессы и правовое сознание целиком укладывались в традиционную модель государственного функционирования. Соответственно легко формализовались интересы государства и дворянства. Легко прочитывалось и самосознание последнего, но наличие такового у крестьянства не предполагалось. Крестьянство представляло только утилитарный интерес, его голоса не только не было слышно, ни у кого не было потребности его слышать. Идеейные антагонисты по крестьянскому вопросу легко выступали модераторами крестьянских интересов, исходя из того, что самому крестьянству это недоступно. «Понятие “прогресса” использовалось лишь для утверждения, что большинство населения является “отсталым”, и вследствие того стало препятствовать появлению иной идеологии, которая признавала бы за крестьянами способность к пониманию

самих себя и которая помогла бы им увидеть себя, наряду с другими группами, легитимными акторами в том или ином политическом устройстве»²⁷.

Прокрестьянские идеологи, сходясь с мнением власти о том, что община – единственно возможная основа крестьянского мира, также не хотели разглядеть лица общинника. Представление о том, как лучше обрабатывать землю в российском климате, взяло верх над пониманием самоценности личности, индивидуальности – основы гражданской позиции. Поразительно, как легко демократ А.И.Герцен и либерал К.Д.Кавелин отказывают крестьянину в праве на личное пространство. Герцен пишет: «Говорят, что община поглощает личность и что она несовместна с ее развитием. В этом мнении есть доля правды». Эту правду Герцен легко разменивает на миф о том, что община якобы спасет народ. Герцен демонстрирует тот же внеправовой подход к решению крестьянской проблемы, характерный для правительства и аристократической оппозиции. Естественно, что для оправдания мифа используется спекулятивная фразеология – *жизнь на миру* или *жизнь с миром*. В результате четкие категории права заменяются якобы не менее значимыми этноморальными установками, что в результате ведет к весьма далекой от правовой постановки эквилибристике в системе житейских ценностей: «Тут нет большого достоинства, что мы неподвижно сохранили нашу общину, в то время как германские народы ее утратили, но это большое счастье, и его не надобно выпускать из рук»²⁸. Потеряли достоинство, но зато осталось счастье – как это по-русски. А как это перевести, чтобы правильно поняли? Конечно, здесь надо делать поправку на образный стиль Герцена и учитывать то роковое обстоятельство, что он в плохой день оказался в Европе. Однако ту же удивительную неспособность разглядеть лица крестьянина, искренний, из лучших побуждений, отказ в его праве на индивидуальность демонстрирует и умница-либерал Д.Кавелин. «Находят, что община поглощает индивидуальность, не дает почти никакого простора личности и гражданской самостоятельности членам общины и тем парализует их силы, существенно мешая вместе с тем развитию нравственных и экономических сил всего государства. Упрек справедлив, но.....»²⁹. Кавелин оправдывал это положение вещей тем, что «государству невозможно иметь дело непо-

средственно с каждым из податных людей в отдельности, и оно поручает это общинам»³⁰, тем самым он неосознанно допускал в отношении иного сорта людей то, что не помыслил бы для себя.

Издержки административной общины с лихвой, по мнению Кавелина, окупаются общиной поземельной, устройство которой в конечном счете спасает деревню от пролетаризации. Здесь Кавелин поддержал сторонников общинного землепользования, славянофилов А.И.Кошелева и Ю.Ф.Самарина, считая, что те, кто требует введения «личной наследственной поземельной собственности», ошибаются. Это писалось в 1859 г., в разгар подготовки крестьянской реформы. Недостатки общинного земледелия, по мнению Кавелина, само собой каким-то образом разрешатся в будущем (позже он признался в необоснованности своих надежд). В то же время Кавелин в письме Герцену писал, что «отсутствие частной собственности, отмена ее – есть величайшая нелепость, вернейший путь к китаизму с пожертвованием начала индивидуальности и свободы»³¹. Теоретически он допускал две формы собственности, но его статья единодушно была воспринята как поддержка крестьянской общины. Ее приветствовали как славянофилы, так и революционные демократы, а позже и народники. Только последовательные либералы, такие как Б.Н.Чичерин, показывали, что община – это один из главных инструментов крепостного права. Защита общины означала преобладание патерналистского восприятия крестьянства, непонимание значения социальной интеграции для дальнейших интересов государства.

В правление Александра II власть выстраивала культурные ориентиры по лекалам западной цивилизации; тогда уже неприлично было отвергать теорию естественного права – пришлось принять равенство людей как вероятную вещь, но на деле по-прежнему вопрос не решать. Здесь появляется очередной миф о «народе-богоносце», выбравшем истинный, в отличие от Европы, общинный образ жизни. Община, хозяйственная необходимость которой не так абсолютна, как это представляли ее идеологи, по факту, как и предупреждал Б.Н.Чичерин, закрепляла сословное деление общества. Негативные проявления поземельной общины со временем не испарились, напротив, пресловутый передел, как справедливо заметил сам Кавелин, таки «отнял у крестьянина всякую охоту улучшать землю»³². Именно община, казавшаяся некоторым самой короткой

дорогой к крестьянскому раю, показала, что отмена крепостной зависимости – очередной фарс, ибо как и административно-правовые механизмы, так и традиционные представления о роли и месте народа, державшие крестьянина на цепи, остались. «Закон и его практическое исполнение не способствовали также и формированию самосознания местного сообщества. Этому препятствовало и общее предубеждение, согласно которому традиционные сельские сообщества были иррациональны, внутренне разобщены, замкнуты в сфере отношений угнетения, что позволяло чужакам, не считаясь с их обычаями, разрушительно вторгаться в их жизнь. Это стало возможным не потому, что в России не было “правления права” (rule of law), а, в частности, по причине отсутствия понятия об общих для всех и каждого законах»³³.

Правительство и оппозиция предлагали различные решения крестьянского вопроса, по-разному глядя на народ, по-разному оценивая его протестный потенциал. Но одно эти стороны объединяло – взгляд на народ как на нечто бессознательное, лишенное способности осознанного самовыражения или даже вообще неспособное к пониманию своих интересов. Это за народ делали другие. Очевидно, никто, если задать вопрос прямо, не стал бы отрицать тот факт, что крестьянин – такой же человек, дальше шло некоторое количество «но». Даже явные друзья народа смотрели на него как на неразумное дитя, за которое надо решать, как ему будет лучше. В исторической перспективе сравнительно недавно русский крестьянин был лично свободен. Его закабаление прошло мирно, постепенно, как-то незаметно, а со стороны крестьянина в общем-то бессловесно. Это-то обстоятельство, возможно, и дало ход бессознательным ориентирам – в крестьянине не видел личность никто, кроме последовательных либералов, но позиция либерализма в России всегда непопулярна. Разве пришло бы в голову какому-нибудь прогрессивно мыслящему помещику сказать, что от ежегодного передела помещичьих земель будет польза и справедливость? То, что немислимо было для нормального человека, виделось естественным для крестьянина только потому, что на него образованный класс взирал как на одушевленный элемент природы, внеправовой объект хозяйствования, бессознательное коллективное, да при этом с педагогической или с нравственно-эстетической позиции. Это по сути хотя несколько отличный от официального, но всё же далекий от

правового интеллигентский взгляд на народ. Причем надо учитывать, что принадлежит он поколению, читавшему Гегеля как стихи и глубоко воспринявшему гегелевскую идею о том, что темный народ, как правило, не знает того, чего он хочет, и, уж конечно, не понимает, в чем интерес государства. Возможно, гегелевское учение о народе явилось еще одним бессознательным ориентиром, который способствовал формированию у демократической интеллигенции высокомерно-патерналистского отношения к народу. Как всегда был прав Чичерин, говоря, что для тех, кто пропагандировал социалистические и материалистические идеи, «законный порядок, право, политическая свобода были только пустыми словами или орудиями для достижения иных целей». Действительно, «трудно было придумать направление более вредное для тех задач, которые предстояли России. В то время как русское общество должно было усвоить себе новые для него гражданские начала, требовавшие разумного понимания действительности и бережного отношения к свободе и праву, ему внушили, что все это вздор, и весь существующий порядок обречен на гибель»³⁴.

Расклад – народ и все остальные – не изменился и после крестьянской реформы, и даже в начале XX в., когда часть бюрократии уже напрямую связывала будущие катастрофы именно с общинным укладом и отсутствием общего гражданского права. «Во всех центральных и местных правительственных учреждениях, на всех профессиональных и кооперативных собраниях и съездах, где толковали о крестьянах, самих крестьян хотя иногда и видели, но никогда не слышали. Из этого стало понятно, почему все разнообразные антагонистические группы устроителей крестьянских судебных все же смогли работать вместе в кооперативах, нередко замалчивая взаимные разногласия. Их понимание крестьянства было поразительно схоже в одном: крестьяне бессловесны»³⁵.

Примечания

- ¹ Коцюнис Я. Как крестьян делали отсталыми. М., 2006. С. 24.
- ² Наказ императрицы Екатерины Великой. 1767. СПб., 1907. С. 2.
- ³ Там же.
- ⁴ Шугуров М.Ф. Дидро и его отношение к Екатерине II // Оснадцатый век. Исторический сб., изд. П.Бартеневым. М., 1868. Т. I. С. 288–289.

- ⁵ *Панченко А.М.* Начало петровской реформы: идейная подоплека // Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII в. Сб. 16. Л., 1989. С. 15.
- ⁶ *Доброхотов А.Л.* Белый Царь. Метафизика власти. М., 2001. С. 3.
- ⁷ *Натуральнова Н.Н.* Еще раз о «Наказе» Екатерины Великой // Екатерина Великая: эпоха российской истории: Междунар. конф. Тез. СПб., 1996. С. 151.
- ⁸ *Каменский А.Б.* От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII в. М., 2001. С. 159.
- ⁹ *Вяземский П.А.* Старая записная книжка. М., 2003. С. 173.
- ¹⁰ *Записка А.Х. Бенкендорфа о тайных обществах в России // Лемке М.* Николаевские жандармы и литература. 1826–1855. СПб., 1909. С. 580.
- ¹¹ *Переписка кн. П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1820–1823 // Остафьевский архив князей Вяземских.* СПб., 1899. Т. 2. С. 16.
- ¹² *Архив кн. Воронцова.* М., 1876. Кн. 10. С. 99–100.
- ¹³ *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 83.
- ¹⁴ *Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. С. 162.
- ¹⁵ *Ключевский В.О.* Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 253.
- ¹⁶ *Пустарнаков В.Ф.* Университетская философия в России. М., 2003. С. 110.
- ¹⁷ Там же.
- ¹⁸ *Граф Бенкендорф А.Х.* О России в 1827–1830 гг. (Ежегодные отчеты III отделения корпуса жандармов) // Красный архив. 1929. Т. 32.(6). С. 151–152
- ¹⁹ *Зорин А.* Идеология «православия–самодержавия–народности»: опыт реконструкции (Неизвестный автограф меморандума С.С.Уварова Николаю I) // Новое литературное обозрение. М., 1997. № 26. С. 77.
- ²⁰ Там же. С. 98.
- ²¹ Там же. С. 100.
- ²² *Уортман Р.С.* Властители и судьи. Развитие правового сознания в императорской России. М., 2004. С. 23.
- ²³ *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. 12. С. 97.
- ²⁴ *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. 12. С. 99.
- ²⁵ *Коцюнис Я.* Как крестьян делали отсталыми. С. 19.
- ²⁶ См.: *Уортман Р.С.* Властители и судьи. Развитие правового сознания в императорской России. М., 2004. С. 21.
- ²⁷ *Коцюнис Я.* Как крестьян делали отсталыми. С. 14.
- ²⁸ *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. 12. С. 97–112.
- ²⁹ *Кавелин К.Д.* Взгляд на русскую сельскую общину // *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 95.
- ³⁰ Там же. С. 95–96.
- ³¹ Там же. С. 556.
- ³² Там же. С. 99.
- ³³ *Коцюнис Я.* Как крестьян делали отсталыми. С. 279.
- ³⁴ *Чичерин Б.Н.* Россия накануне XX столетия. Берлин, 1901. С. 18.
- ³⁵ *Коцюнис Я.* Как крестьян делали отсталыми. М., 2006. С. 13.